Tatiana Khodorovich, interview with Philip Boobbyer, Paris, March 1997, transcript in Russian and English

... как бы остается в тени, т.к. больше интересуются, ожидая, что диссидентство это какое-то движение, ожидая увидеть диссидентское движение и желание практически что-то сделать в коммунистическом государстве. Может быть некоторые диссидены так и считали, что они дейсвуют, желая что-то изменить в том государстве. Но, опять же, я хочу сказать, что я не принадлежу к этой группе диссидентов и никогда не ждала никакой практической выгоды или каких-то практических результатов, вернее, от своей деятельности. Более того, я очень не люблю, я много раз об этом уже говорила, но скажу еще раз (повторенье – мать ученья), что я очень не люблю слово "диссиденты". И мне кажется, что на самом деле диссиденты – это не мы, которых так назвали, назвал в основном, Запад, это не наше слово, а скорее всего само государство у нас... государство – диссидент, а не мы диссиденты. Оно откололось от морали, от нравственности, от Бога, а не мы от этого откололись. В этом смысле, я себя не считаю даже диссиденткой, но не было более подходящего слова, Запад быстро образовал или подхватил это слово может быть от советских властей или каких-то журналистов, не знаю... Оно как-то прилипло к той группе людей, с которыми судьба свела и меня.

Филип: Расскажите чуть-чуть о своем детстве, где Вы родились...

Т.: Хорошо-хорошо... Я – коренная москвичка, т.е. я родилась и всю жизь до того, как я оказалась во Франции, я жила в Москве. Мне повезло, потому что я с детства уже впитала в себя ту русскую культуру, которая сложилась до революции.

Ф.: Когда Вы родились?

Т.: Я родилась в 1921 году после революции уже, но я воспитывась в семье своей бабушки и своего дедушки. Вот моя бабушка в юности (показывает фото) Анастасия Александровна Врубель, сестра художника Врубеля. (Кстати, скоро будет его выставка в Мюнхене) Это – мой дедушка Евгений Юлианович Ходорович... Это вот мои бабушка и дедушка уже в замужестве... Это – второй муж моей бабушки – Александр Васильевич, немец фон Биберштейн. Он по происхождению, как и многие дворяне, скажем там, немец в каком-то там поколении. Прадед его был бароном, а сам он родился, жил, учился и считал себя русским. Жил в Москве, во многих городах много путешествовал, так же как и мой кровный дедушка. Но кровного дедушку я никогда не видела. А воспитывался он в семье бабушки и ее второго мужа, которого я тоже называю своим дедушкой. Они много путешествовали вместе с бабушкой и детьми, а я была погодкой с последними детьми бабушки. Поэтому росла в их семье вместе с последними детьми. И бабушка и дедушка считали своим правом, или может быть даже долгом, сейчас мне трудно об этом судить, не скрывать своих взглядов от детей. Болеетого, дедушка был мой религиозный ипо вечерам, перед сном, мы обычно собирались тогда в гостиной. Жили мы тогда , у меня не поворачивается язык назвать Петербург, мне все время хочется продолжать называть тот город Ленинград, потому, что я пока не вижу, что он стал Петербургом, но хорошо, будем называть его так, как его вновь назвали – Петербургом. Значит, я свое детство провела в Петербурге, в семье бабушки и дедушки. Но, естественно, это была интеллигентная семья, я Вам уже их назвала. И кроме того, семья, которая не считала нужным скрывать свои взгляды, всои убеждения, свою религозность от детей – тогда это принято было скрывать в те годы, потому, что в 1921 году я родилась это примерно, конец двадцатых, начало тридцатых

годов. Поэтому, я из их уст, ихз их быта, из общения с другими людьми я впитала в себя дореволюционную Россию. Это интересно и это больно, как это оказалось впоследствие для меня вообще непереносимо, впитав в семье вот эти взгляды и эти убеждения, я попала во внешнюю среду совершенно иную. Я пошла как и все дети в школу, было обязательное обучение...

Ф.: Это была проблема?

Т.: Это была проблема. Когда я пришла в школу, тогда уже были октябрята в школе, пионеры в школе, комсомольцы были в школе, значит весь этот период мой детский и юношеский прошел среди как бы уже подготовки, среди такого момента, когда людей уже подводили к партии, коммунистам, коммунизму. Я же, живя совершенно в иной среде, в доме среди своих сверстников, которые были мои родные там... тети, дяди – мои погодки, мы жили, как оказалось, совершенно иной жизнью. Подруги, которые у нас были, естественно, тоже были примерно из таких же семей – осколки старых дворянских семей и их дети – вот были друзья, которые к нам приходили. Ну мы как: все дети бегали во дворе, там, конечно, были и другие дети из других сословий, других семей, но там не было такого вот общения. Там не было разговоров, мы были слишком малы, не было разговоров о совести, о религии, о Боге. Мы таких разговоров... Мы играли в прятки, в куклы, в лошадки, как обычные дети, но приходя домой, мы питались одной пищей. Я очень много в детстве читала, я начала читать с четырех лет уже самостоятельно, и так как у нас принято было по вечерам читать, взрослые нам читали – мы слушали, то потом, когда я начала сама читать, меня оторвать от книги было уже невозможно.

Ф.: И что читали?

Т.: И что читали. Совсем уже на ночь, поздно вечером, дедушка собирал всю семью, значит, нас детей, уже взрослых детей, потому что там уже были и взрослые дети, не только мои погодки, и, во главе с бабушкой, дедушка нам читал Евангелие. Вот это было мое первое знакомство с Евангелием, с Богом, такое знакомство из чтений, из объяснений. И тогда же были запрещены церкви, это были те годы, когда ничего нельзя было. Запрещено было даже слово Бог произносить, особенно в детском коллективе в школе. И что же дальше было, когда я пошла в школу? Когда я пришла в школу, в первый класс там учили буквы, которые я уже хорошо знала, и свободно читала, писала и все... И учителя меня много хвалили, очень довольны были моими успехами. Это не было моей заслугой, просто я уже была подготовлена не к первому классу, а выше домашним чтением, разговорами и книгами. К книгам я вернусь немножко потом... И вот таким образом... Да вот превый класс прошел. Во втором классе уже начались разговоры о том, что каждый школьник должен брать пример со взрослых коммунистов там да, вот с Ленина. Ленин посадил березку. Ленин там еще что-то сделал. Я была несколько изумлена, потому что у нас дома я слышала о Ленине, уже тогда о Ленине совсем другие отзывы, которые неспециально нам детям преподносились, а просто родители между собой, т. е. не родители даже, а бабушка и дедушка, мама в это время жила в Москве – просто она работала и меня не с кем было оставить дома и поэтому меня бвбушка забрала к себе и я жила в семье бабушки. За что очень бабушке я благодарна, и вспоминаю свое детство с восторгом. Детство у меня было замечательное. Были чудесные елки...

Ф.: Вы значит жили с дедушкой-бабушкой, а родители?

Т.: А родители были в Москве. Мама с папой рано развелись и значит мама была бы со мной, но мама вынуждена была работать. И поэтому, я жила в семье дедушки, где бабушка не работала и воспитывала нас детей. Дедушка был к тому времени адмиралом флота, значит это была не только такая интеллигентная семья, но еще и высокопоставленная даже при советской власти. Почему дедушка, будучи морским офицером, не эмигрировал в свое время на Запад, как почти вся Белая армия сделала, за исключением тех, которые были убиты, или по каким-то причинам остались? У дедушки моего был очень твердый и такой волевой характер и он совершенно сознательно отказался уезжать куда бы то ни было из России. Он считал своим долгом защищать Россию от внешнего врага, считая, что большевики – это вещь такая, с которой надо бороться внутри и которая не является самой большой опасностью. Гораздо опаснее, если, например, Англия или Франция, или кто-то войдут в Россию. Но трудно мне судить прав он был или нет. Людей не судят, тем более родителей, поэтому, я не судья, я была маленькая. Но так мне запомнилось объяснение, которое я уже слышала, когда уже подросла. Там была целая история с дедушкой, каким образом, там когда было Временное правительство, был Керенский, неизвестно было кого слушаться, это тоже он все рассказывал, но это долго, поэтому не буду на этом останавливаться. Но факт тот, что он остался в Советском государстве. У него было звание адмирала, олно было ему тогда дано, по-моему, в семнадцатом... нет! После революции еще не было всех званий вообще, там были флагманы. Вот он был флагманом первого ранга. Потом, спустя некоторое время вернули все старые названия офицерские, и тогда вместо флагмана первого ранга он стал вице-адмиралом военно-морского флота.

Ф.: Скажите мне чуть-чуть о Вашей жизни после детства, что Вы делали в 40-е – 50-е года?

Т.: Хорошо. Я чуть вернусь быстренько, только про школу скажу несколько слов, а то я оборвала свой рассказ. Значит, начиная со второго класса детей начали принимать в октябрята. Значит надо было давать клятву, что ты будешь верен и т.д., хотя мы были еще маленькие, и я пошла в школу рано и так, как я Вам уже говорила, что я и читала и писала, я перескочила через класс. Меня из превого класса перевели в третий сразу. Таким образом, я, можно сказать , проскочила возраст октябрят и приблизилась к возрасту пионеров. Значит октябренком я не была. Когда стали принимать в пионеры, то оказалось, это надо обязательно было всем классом, одновременно, всех выстроили в линейку, все должны были стать пионерами, и вдруг я еще совсем малышка, я сказала, что я пионером быть не буду. Учительница была поражена, как это? Можно было, скажем, в наказание, пионером сделать не сразу всех учеников, но так как я была одна из первых, или может быть даже первая ученица, то это было странно – как это вдруг я и не пионерка. И учительница испугалась, потому что...

Ф.: И почему Вы отказались?

Т.: Я отказалась совершенно, по-моему, по идейным соображениям, если можно... Я сказала, что я не хочу быть пионеркой, я не хочу давать клятку. я знаю, что клясться – это плохо, и я не считаю себя готовой идти по пути Ленина, потому что путь, как Ленин, "будь готов – всегда готов" – это же символ был пионерский, ну вот я и отказалась. Меня вызвали к директору, потом вызвали дедушку с бабушкой...

Ф.: Сколько Вам было лет?

Т.: Ну это был значит, третий или четвертый класс... Мне было наверное лет десять, может быть немножко меньше. И вызвали дедушку с бабушкой . Дедушка с бабушкой развели руками и сказали, что они тут не при чем. Дети у них свободные люди...

Ф.: Они не хотели, чтобы Вы отказались?

Т.: Нет, на эту тему не было разговора. Они меня не заставляли, они меня не уговаривали, ничего этого не было. Но в школе конечно решили, что не может 9-10-летний ребенок сам решить, что он не будет пионером, да еще объяснять почему. Поэтому, естественно, их вызвали на беседу к директору. Но пришла бабушка и сказала, что в ее семье дети свободны в своем выборе и она не будет заставлять меня идти и становиться пионеркой. Если школа считает это нужным, то пусть она, эта школа, со мной, девочкой, работает. Но бабушка и дедушка не будут помогать в этом вопросе школе. От меня отстали после этого. Бабушке, по-моему, говорили, что меня исключатиз школы, но все-таки не было такого закона исключать из школы за отказ от того, что ты идешь в пионеры. Меня оставили в покое и это меня на будущее просто спасло. Потом я уже... меня уже не вовлекали в комсомольскую организацию, мне конечно предлагали, уговаривали, но я всегда говорила – у меня был очень хороший повод ответить, он был правдивый и вместе с тем доказательный. Я всегда говорила: "Я не была пионеркой, я не имею права быть комсомолкой. Я не готова быть комсомолкой, я никогда не была пионеркой". От меня отставали тоже и отстали. Но уж про членство в коммунистической партии не было и речи.

Ф.: Это было как бы под влиянием религии, идейный... не очень формальный... как бы инстинкт какой-то?

Т.: Да! Я думаю, что тут сыграло роль может быть просто какие-то конкретные такие вещи. Ну, например, тогда было запрещено детям, особенно пионерам, ходить в церковь. Ну, скажем, ни на Пасху, ни на Рождество дети школьного возраста не имели права быть в церкви. Чтобы пресечь это, потому что все-таки дети с родителями ходили в церковь, пусть небольшое количество, но все-таки нарушало эту "заповедь" и ходило в церковь, то устраивали такие пионерские кордоны, пионерские заслоны, чтобы не пускать детей в церковь. И я сама видела своих пионеров из своей школы из более старших классов, что они с красными галстуками стояли и не пускали, в том числе и меня в церковь. Но так как я была не одна, а с бабушкой и дедушкой и еще с тетями и дядями моего возраста почти, то конечно пионеры ничего сделать не могли. Бабушка и дедушка говорили – она с нами, и я проходила, понимаете? И это я запомнила. Ивот когда я отказывалась быть пионеркой, передо мной стояла эта картина, как дети из моей школы с красными галстуками не пускают молиться Богу, не пускают людей, а там горят свечи в церкви, идет служба, и т.д., и вот это все, наверное, и способствовало тому, что я не попала ни в какие организыции, ни в партийные, ни в комсомольские, ни в коммунистические, тем более ни в какие... Дед мой, несмотря на то, что он был адмиралом, он никогда не был членом коммунистической партии, и вообще не разделялэтих взглядов, поэтому я изналаотом, что такое Ленин, а потом, что т акое Сталин, уже позже, когда все шептались и боялись, а родители молчали. Вот у нас в доме об этом говорилось открыто. Дед мой, благодаря своему положению, часто бывал там на каких-то советах, реввоенсовет – такой раньше был – высший военный совет. Вот он был членом реввоенсовета, поэтому он на всех заседаниях этих присутствовал, и когда он оттуд а приходил, он с возмущением бабушке рассказывал, что там происходило. Он был большим специалистом военным. Он был специалистом

по разминированию и, в частности, его было вот такое, ну что ли, частное дело, разминирование каналов Босфор и Дарданеллы, это я знаю. Поэтому, его ценили, как специалиста. Поэтому, несмотря на то, что он не был ни партийным, ни... его как специалиста охраняли сами же власти, и он не сидел ни разу ни при Ленине, ни при Сталине он в тюрьме не был ни разу.

Ф.: Когда он умер?

Т.: Он умер у меня на руках, уже я была взрослая, но я еще была в Москве, не здесь. Он умер в городе Ялта, в Крыму, где он жил последние годы, примерно лет тридцать тому назад, я точно уже год не помню. По-моему, лет тридцать-двадцать я уже здесь и примерно, за 10 лет до моего отъезда он умер у меня на руках. Я приехала в Ялту и за ним ухаживала. Ну вот, он всегда молился, у него была икона. Вот еще у нас в доме никогда не прятали икон, несмотря на то, что ходили какие-то там, опять те же и пионеры и учителя, и учителям вменялось в обязанности обязательно посетить на дому школьников – у нас это было все открыто. Не знаю, может быть благодаря тому, что дед занимал такой большой пост, никто не трогал и ничего нам не делали за это. Но, во всяком случае, это было иэто меня спасло от безверия. Но, к сожалению, жизнь есть жизнь, и вера у меня была, глубокая, детская, чистая вера, и в какой-то степени, все-таки церковная, поскольку в церковь я ходила. И причащалась я и исповедовалась, все я православная, значит, все по православному обряду. Потом, когда я стала уже юной, это уже сороковые-пятидесятые годы, меня жизнь закрутила. Я поступила учиться в педагогический институт, Московский городской педагогический институт на филологический факультет, и у меня было много подруг... Не сказать, что бы я была очень общительная, но все-таки нормальная была студентка. И мы... Не знаю, как это я попала в такой круг, что ли, но сама наверное такой выбрала, круг совершенно, в общем, чуждый мне, я бы сказала, по воспитанию, по отношению к жизни. Попала в круг комсомольских работников, комсомольцев, такой обычной советской молодежи. И вполне с ними сжилась, и мы проводили время с ними по-разному: мы ходили с ними в кино, и ходили какие-то баранки, тогда бублики продавались в палатках, покупать их вместе, потом там ели. И на какие-то лекции ходили, с каких-то убегали и т.д. и все это было вместе и религия у меня тогда отодвинулась куда-то на второй план.

Ф.: Когда Вы были в этом институте?

Т.: В педагогическом институте? 38-39-40-й и в 41-ом я кончила его в связи с началом войны. Нас выпустили досрочно в связи с войной, нам выдали аттестаты и нас выпустили. А потом началась война, я вышла замуж и муж работал инженером в научно-исследовательском институте, который во время войны считался такой организацией, которая что-то делала для войны, и его эвакуировали и вместе с мужем уехала я в Барнаул на Алтае. Это был сорок первый год и в 43-м мы вернулись обратно. Институт вернули обратно и вместе с институтом вернулись и мы. Находясь в Барнауле я работала в том же институте простой рабочей шлифовала кварцевые пластинки. Потом мы вернулись обратно, и, естественно, я уволилась из института, поскольку это и не моя профессия, и не мои стремления были, и тут у меня родилась дочка первая старшая, потом родилась вторая, я не работала в это время, а была с детишками, а потом пошла работать в школу. Значит с 48-го года я стала работать в советской школе и я познала, что такое ад. Ад не в смысле работы... Первый год я очень хорошо помню... вот эти несколько лет (я 4 года проработала в школе) я хорошо помню свои ощущения. Первый год это было знакомство с тем, как надо журнал вести, что там

надо писать, к каким родителям надо ходить, как с ними знакомиться. Я работала около... это место называется теперь Даниловский рынок в Москве, там открыли Даниловский монастырь не так давно. Тогда он конечно был закрыт и там был дом для беспризорников, таких преступных беспризорников, колония такая. Вот в том районе я работала. И я работала в школе мальчиков, тогда было раздельное обучение – девочки отдельно, мальчики отдельно учились. Это было несколько лет. Потом произошло слияние школ. Я работала среди мальчиков. Первый год у меня голова была занята всякой документацией, бумажками. Их было масса бумажек, которые учителя должны юыли вести: какие-то дневники, какие-то журналы, какие-то списки – у кого где работают родители – вот все это учитель должен был записать и, кроме того, держать в голове. Поэтому я ничего другого не замечала как бы. Следующий год я наводила контакты с мальчиками, поскольку я работала в таком районе – это был рабочий район, окраинный тогда Московский район – и дети были очень трудные, потому что в основном это были дети из семей, где отцы пили, где отцы били своих жен и т.д. Дети, конечно, не были виноваты, но они были предоставлены улице и улицей жили друг с дружкой- вот, катались как могли, жили как могли, полуголодные, поскольку время было послевоенное. .. Да вообще я не знаю, когда в СССР голода не было, там по-моему все время голод был – то из-за войны, то из-за неурожая, то из-за еще чего-то. Но в то время из-за войны, все объяснялось войной. Довольно быстро я наладила контакты с мальчишками, я начала работать с пфтого класса в советской... Вы знаете как там – 1-й, 2-й, как в Германии. 3-й, 4-й, 5-й, а во Франции все наоборот. Ну, вот, значит, я начинала.... Это называлось вторая ступень школы. Я, начиная с 5-го класса, преподавала литературу и русский язык. И вот, наконец, когда я успокоилась, когда я научилась вести бумажки, когда я узнала, что такое родители и что от них можно ждать и чего нельзя ждать, и что такое из себя представляют мои мальчики, и как мне надо на них действовать, чтобы они тихо сидели нетолько на моих уроках, но и на уроках других учителей, потому что в 5-ом классе уже предметные учителя были, тогда я с ужасом увидела чему же я их учу. Ну, кажеться, что там русский язык – там никакой политике не может быть. Нет, там оказалась сущая политика. Я уже не говорю про литературу, это уже особая статья. Но и русский язык, как таковой, потому что все упражнения, все примеры, которые требовались от учеников, чтобы они их приводили в поддтверждение какого-нибудь граматического правила – все это было пронизано словами "коммунисты", "социализм", мы первые, мы изобрели и лампочку, и паровоз, мы изобрели все – это все достижение Советского государства. Вот, мы, Советское государство, – единая семья народов. Царское... То, что было в царское время – все ужасно. Это сплошные... "тюрьма народов", это называлось, а у нас – это, наоборот, общество расцветающих народов и т.д.. И этим были пронизаны все учебники. Учить я имела право только по так-называемым стабильным учебникам. Теперь отступать я не могла по разным причинам. Во-первых, мне бы никто не дал этой возможности, потому что учителей то и дело проверяли – на уроки приходили методисты, директор школы. Директор школы обязательно должен был быть членом партии. Это было неукоснительно. И ничего изменить я не могла и не знала как это сделать. Я могла только, как бы теперь сказали, по-черному кое-что рассказывать ученикам из того, чего не было в учебнике. Но при этом должна была им говорить: "Я вот сейчас вам расскажу, скажем, о Цветаевой или о Пушкине, но не так, как у вас написано в учебнике, а так, как было на самом деле. Но вы только смотрите, никому об этом не говорите, иначе я не смогу у вас работать." К тому времени уже у меня был не 5-й, а 7-

й, 8-й класс и дети уже были смышленные и я с ними была в очень хорошем контакте и очень любила детей и до сих пор их люблю и они меня любили, и я поняля, что для того, чтобы, так называемая, дисциплина была в классе, просто надо, чтобы учитель умел заинтересовать своих учеников. Тогда они будут тихо сидеть, не будут стрелять из рогаток, они не будут делать тебе гадостей, они будут тебе помогать. Вот у меня был такой класс, который мне помогал. Но, что же мне было делать. Я понимала, что я им лгу, заставляю их учить стихотворение Лебедя-Кумача, или еще кого-нибудь из советских поэтов. Стихи плохии, написаны плохо, идея отвратительная в стихах, но надо было говорить, что эти стихи замечательные. Почему я должна была это говорить, не только потому чтобы спасти себя, т.е. оставаться работать в школе, и кормить своих собственных детей таким образом, но еще и потому что я хорошо понимала, что мои школьные дети кончат 10 классов и пойдут дальше поступать в институты, университеты, или на какие-нибудь курсы, в техникумы – куда угодно, но пойдут учиться дальше, и что же они будут делать,что они будут отвечать на экзаменах в эти учебные заведения, если я буду им говорить,что эти стихи плохие, если я буду говорить правду, попросту говоря, т.е. если я буду житьпо совести. Поэтому я решила, что я уйду из школы, несмотря на то,что голодно будет моим детям и муж... да, у меня двое еще было, третья девочка родилась – я уже не в школе работала. Но, все равно и двух надо было содержать. Еще надо было какую-то женщину просить за ними смотреть пока я была в школе, значит еще кому-то платить надо было. Я ушла из школы. Ну, наверное, это я сейчас так думаю, а тогда так не думала и не задумывалась над этим. Мне всегда казалось, что мне в жизни везет. На самом деле это, видимо, было нечто другое, о чем теперь я начинаю и давно об этом думаю и давно пришла снова к вере... Но до этого мы еще не дошли...

Ну, вот, и я, значит,... Что же произошло? Я не успела бросить школу, подала заявление директору, который меня очень ценил, несмотря на то, что он был коммунист и не был согласен со многими вещами против которых я возражала, все равно ценил меня как учителя просто, и поэтому не хотел отпускать. Я с ббольшим трудом уволилась из школы. Я говорила, что должна уйти по семейным обстоятельствам, мне не с кем оставлять детей, что тоже было правдой, поскольку тогда никаких домработниц, выражаясь советским языком, никаких няней найти невозможно было, их просто не было. Этой прослойки людей не было, все были закреплены за колхозами в деревнях и не имели права уезжать никуда. Вы наверное знаете, что у них не было паспартов, чтобы они не сбегали оттуда, в городе без паспорта жить было невозможно и взять людей, которые смотрели бы за детьми, тоже было негде. Можно было только каких-то убогих старушек и то они были своими детьми заняты, своими внуками. И, написав такое заявление, и объяснив директору, что я действительно не могу, я благополучно из школы ушла. И тут, однажды в доме у меня раздается звонок. Я подхожу к телефону и оказывается это звонит профессор у которого я когда-то слушала лекции, учась в институте, и говорит, что не хотели бы Вы прийти к нам на работу в Институт Русского Языка. Почему ко мне это было дано обращение, потому что я, когда училась в институте, я увлеклась диалектологией, изучением народных русских говоров и всегда участвовала в экспедициях по сбору диалектологических материалов. И всегда эти группы диалектологических исследователей возглавляли профессора, а мы студенты как бы немножко обучались и записывали говор. Ну, видно я неплохо это делала и обо мне вспомнили и меня пригласили на работу бывшие мои профессора, которые в это время уже не преподавали в этом институте, поскольку многие тоже уже отсидели,

многих просто уволили с работы, потом снова взяли куда-то. Наконец-то образовался вот этот институт, он раньше назывался им. Мара, потом это имя стало нарицательно плохим, это имя убрали и стал просто Институт Русского Языка Академии Наук, Институт Языкознания Академии Наук сначала, потом его разделили и русский язык отделии от других языков и стал этот институт называться Институтом Русского Языка. Вот там я проработала 19 лет.

Ф: С какого года значит?

Т: С 52-го, наверное. Нет раньше.... В 70-м меня оттуда уволили, значит в 51-м. Да, Сталин умер, когда я уже там работала. Снчала меня взяли временно, по договору, по конираку, но а потом через некоторое время меня оформили постоянно и все 19 лет я проработала в секторе диалектология и история русского языка. Вот это была моя специальность. Тогда мне казалось, что мне повезло. Не успела я бросить школу, остаться без работы и почти без денег, как меня уже пригласили в другое место, да еще в такое почетное и интересное. И действительно работа там была очень интересная. Во-первых, мне повезло, потому что был замечательный коллектив ученых, но ученых – не о человеческой сущности я говорю, а об ученых. У меня есть, кстати, целая работа, ... где-то она у меня тут лежит... рукопись о лингвистике как политика, я уж не помню названия, где я описываю, что такое были професора, с которыми я работала вместе 19 лет, не только профессора – ученые. Как вообще их заставляли.... это трагично, я не буду об этом рассказывать, это долго и это надо... Может быть когда-нибудь Вам или еще кому-нибудь отдам свою рукопись, потому что это страшная вещь, страшное сообщение то, как из людей вынимали совесть или старались вынуть, вынуть ее не смогли, невозможно, но как коверкали людей, которые действительно былт настоящими учеными, вдумчивыми, умными, добрыми людьми, и что с ними делали и что сделали. Как они друг друга обливали грязью, называли фашистями... и все зто под нажимом, потому что какой-то данный ученый для влясть имущих представлял какую-то опасность, почему-то от него хотели избавиться и тогда все остальных, чтобы самим не пачкать руки, делали убийцами этого человека, всех остальных его друзей, его коллег.... Это страшная просто вещь.... У меня вот эта работа представлена вся, почти вся состоит из цитат. В этом ее трудность для читателя и особенно для переводчика, но и в этом ее ценность, она как документ. У меня там от себя есть только какие-то комментарии, ну комментарии о том, что это за ученый, что это за человек, где я с ним познакомилась, почему я это знаю. А остальное идут цитаты вот этой внутренней борьбы, страшной борьбы, в которой щепки летели. Уничтожались лучшие из лучших профессоров. Студенты лишались лучших преподавателей и взамен приходили совсем другие. Вот это была страшная вещь.

Ф: Этот процесс был в институте?

Т: Это было в институте

Ф: Это было системой?

Т: Конечно, тем более, что какие-то зачатки во мне уже были, понимаете, мне это уже было не так трудно, в этом плане формироваться. Но я помню только свое.... Если бы не экспедиции, в которых я принимала участие, и если бы я не видела простой русский народ, благодаря этим экспедициям.... Экспедиции же каким образом организовывались? Значит, мы изучали диалекты только русского языка. Мы ездили по территории русскоговорящей и она большая. И, примерно, все лето было

посвященно этим экспедициям. Мы срочно собирали материал, поскольку деревня постепенно становилась все ближе к городу, провели радио, дети уезжали из деревни, оставались старики, дети приезжали к старикам на каникулы – шло общение и менялся язык. А нам надо было собрать тот язык, коренной, которым владели эти люди до того, как какая-то культура, правда культурой это трудно было назвать, ну какое-то общение с городским населением их не коснулось. И там я поняла, сколько мудрости, внутренней силы нравственной в обычном крестьянине, тогда это были уже колхозники, значит, в обычном колхознике. Сначала, конечно, они боялись нас. У нас была такая программа, по которой мы вели опрос. К сожалению, не было времени на то, чтобы сосредоточить мысли, если бы я сейчас это делала, я бы делала все по-другомму, но тогда мне и в голову это не приходило, тогда я выполняла работу. Нам надо было выяснить, каск в данной местности говорят, ну, например, говорят "Володя" или "Валодя", как в литературном языке, или говорят "цай" или "чай" и т.д. И мы не имели право, поскольку это тогда была подсказка, называт эти слова. Мы задавали вопросы, вызывая собеседника на разговор на какие-то темы, которые близки крестьянину. Ну, там, "что вы сеяте?", "как вы пашите?" и т.д. Какие-то вопросы сначала общего характера, чтобы начать разговор. Вот они что-то нам рассказывали, а потом мы уже, для того, чтобы узнать как родительный падеж будет, или дательный там будет "корове", а не "коровы" они будут говорить и т.д. Значит, уже более конкретные вопросы какие-то. И вот тут я почуствовала, первое, что я почуствовала, это необыкновенная природная чуткость к языку. Действительно, иногда мы бились, никак не могли добиться того, чтобы человек сказал "к корове" или "к двери", или назвал какой-то предмет как называется в этой деревне этот предмет. Но иногда..... вот я помню такой случай, как какая-то старенькая старушка, которая никогда из деревни не уезжала, это было основным нашим правилом, значит надо было найти людей, которые из этой деревни не уезжали, которые не слушали тлгда радио, не было у них радио – радио вообще тогда мало у кого было, приемнички тогда такие детекторные были, но в деревне почти этого не было. Мы обычно искали старушек, а не стариков, потому что старики больше ездили на заработки или там на какие-нибудь рыболовные суда, или куда-нибудь еще. И вот чтобы эта женщина вышла замуж в своей же деревне, и муж не был бы из соседней деревни, или чтобы она не переехала в соседнюю деревню, потому что очень часто бывало так, что на этом берегу реки – один говор, а на другом берегу реки говорят по-другому. Тут скажут "чай", а там скажут "цай", тут скажут "пахать" – это значит землю плугом разрезать, а там скажут "пахать" – значит комнату убирать, хотя деревни расположены близко. Мы же, занимаясь диалектологией, наша цель была – создать атлас русских народных говоров, что мы и сделали потом. Но, когда крестьяне рассказывали, начиналась беседа, они рассказывали... сначала они побаивались, они говорили что-то конкретное, что они сеят пшеницу или пышеницу, а потом мы объясняли им, конечно, нашу цель и народ, неграмотный, темный – а еще надо же было, чтобы они еще и не читали – народ был темный, неграмотный – таких мы искали стариков, старух. И этот народ оказывается каким-то внутренним чутьем знал и понимал, что мы от них хотим. "А, Вас интересует...." Билась я, билась – как-то мне надо было узнать творительный падеж от слова "плуг", чем они пашут "плугом" или "плугам", или "плугм" – фонетика меня интересовала. И я никак не могла подвести к этому творительному падежу, никакими вопросами. Чтобы я как ни повернула вопрос, мне мой собеседник или моя собеседница отвечала по-другому, не этим падежом. Наконец она посмотрела на

меня, посмотрела и говорит: "Хм6 я понимаю, что тебе от меня нужно. Нет, мы не говорим "плугм", как вы, а мы говорим "плугом", а вот, если Вы поедите за речку, там Вам скажут "плугам".

Ф: Расскажите чуть-чуть о 60-х годах, как Вы начали участвовать в этом движении?

Т: Хорошо. Так вот я, видя такой народ, видя его мудрость, ум и отсутствие зависти ... Это очень трудно мне от этого оторваться и перейти к ответу на Ваш вопрос, просто потому что мне очень больно за свой народ, что с ним сделали. Потому что это необъяснимо,... можно, конечно, это объяснить. Просто в каждого человека вложена Душа и в каждого человека вложена совесть и эта совесть – это закон естественный, который вложен Богом и поэтому, чем неграмотнее на самом деле был человек, чем меньше он общался с внешним советским миром, тем глубже была его Душа, тем больше, тем одухотвореннее он был и этим объясняется то, что они рассказывали о себе, о своей личной жизни, например. Они, когда они рассказывали о каких-то убийствах внутрисемейных, каких-то ссорах страшных, убийствах, никогда не выгораживали они себя. Никогда не говорили они: "Я тут была не причем." Ничего подобного, она будет говорить, эта старуха , что "да, вот, конечно, там кто-то убил мою невестку", предположим, -"ну я, конечно, ему говорила, что она никуда негодиться, что она ему изменяет..." или еще что-то там. Она не старалась говорить, что она ее защищает – этого не было. Ну, вот это такой народ был.

Ну и, столкнувшись с таким народом, из года в год ч ездила и видела его – у нас были и машиные экспедиции, и пешком – самые разнообразные... Мне стало очень тоскливо и грустно и я попала в какое-то безвыходное положение и я стала думать, но что тут можно сделать вообще? Что тут можно сделать с этой советской пропагандой и агитации? Как можно ее не заниматься, этой агитацией и пропагандой? Потому что невольно или вольно я ей тоже занимаюсь. И как бы в любом случае я, покупая билет в троллейбусе, я работаю на эту систему. Я не знаю, иду по тратуару, я опускаю письмо в почтовый ящик – я работаю на эту организацию.... Я опускаю макрку, на которой Ленин нарисован, Сталин – я не обращаю на это внимание, мне все равно. Я становлюсь равнодушной к тому, что меня окружает. И мне было очень тоскливо и я думала, хоть бы что-нибудь произошло, ну хоть что-то было. Ну, где? Что? – Я ничего не могла найти. Я тогда не знала, что кто-то, где-то также мучается как я, и тоже не находит путь, а некоторые уже начинают сбиваться в какие-то кучки. Но, т.к. я работала в Институте Русского Языка, где было много интересных людей, то однажды в этот наш Институт Русского Языка принесли письмо, кто-то со стороны принес письмо. Письмо в защиту двух писателей – Синявского и Даниэля, которые опубликовали свои рассказы здесь и на Западе, которых арестовали и за которых их коллеги, писатели, литературоведы решили за них заступиться и написали письмо, обращенное советскому правительству – ни заграницу, никуда – в защиту этих двух писателей, говоря о том, что они их хорошо знают, что они – замечательные люди, совсем не против советской власти... И, в общем, довольно, я бы сказала, "беззубое", но "открытое" письмо, все-таки в защиту кого-то. Мне дали прочесть это письмо. Я его прочла и с таким некоторым страхом спросила – и там нету.... были подписи под этим письмом – а, например, я имею право подписать такое письмо? "Да, пожалуйста," – говорят. "Конечно". Я подписала. Это было мое первое письмо, которое я подписала. А раз я подписала письмо, то я уже познакомилась с целой группой лиц, которые тоже это же письмо подписали. Таким образом, я вышла....

Ф: Как интересно! Это очень интересно, очень интересно!

Т: Я вышла, скажем, на эту арену. Но и следующее письмо было в защиту Гинзбурга, которого вслед за ними арестовали, обвинив в том, что он подписал это письмо, что он его отправил заграницу... Одним словом, там целая уже сеть шла всего. Уже подписало меньшее количество людей письмо в защиту Гинзбурга, поскольку это было уже опаснее – его обвиняли в таких грехах, за которые заступаться было опасно. Ну и вот, значит, подписала я и это письмо. Потом начались Чешские события 68-го года – тоже я не могла остаться в стороне. Но все-таки я тогда еще не была близко связанна вот с этой группой людей и поэтому на Красную Площадь я не ходила, потому что подготовка к этому была как бы тайной. Несколько человек договорилось просто между собой, чтобы их не предупредили, их не арестовали до того, как они придут на лобное место. Но зато, когда их арестовали, то тут уже оставшиеся и неходившие туда, написали в их защиту. И тогда это было уже совсем опасно, и тогда уже у меня был бы обыск и меня бы...Но тогда еще обыск был и все это проводилось под сенью закона, потому что обыск был от прокуратуры, со всеми... с соблюдением всех законных подписей и формуляров. Ко мне пришла женщина, она прокурор, женщина эта... любопытная была...Она, значит, проводила обыск.Вовремя обыска присутствовалинастоящие.... ну, как они называются? Неважно, вобщем. Настоящие свидетели обыска и онибыливзяты просто из моего же дома из соседней квартиры. Один из соседней квартиры, а один – сверху – два свидетеля. И в их присутствии проводился обыск. Понитые они называются условно – вернулось ко мне. Значит, эта женщина собственоручно – прокурор – переворачивала, вот несовру, примерно вот такие кресла! Бралась за ручки и поднимала над собой – никто из моей семьи, я в том числе, этого сделать не смогли потом, когда они ушли. Такая сила была! Вот так поднимала, чтобы потрясти нет ли там чего-нибудь, где-нибудь незасуно-то ли под пружинной, или она делала вид, что это очень все серьезно- не знаю, но факт тот, что она поднимала неподъемные вещи.

Ф: Было ли сильное чувство страха в этот момент или...?

Т: Нет, нет, нет.... У меня тогда страха не было никакого. С первого момента, как только... у меня был страх, что мне откажут подписать вот письмо, первое письмо – вот это у меня был страх, а вдруг это не всем можно. Я нашла, наконец, выход вот тому, что меня так мучило. Вот почему у меня не было страха. Я же до этого мучилась, я не знала, что же... Ничего нельзя сделать.... Я знала о том, что кругом идут аресты... Я не была слепая, я видела это все при Сталине.

Ф: В таком смысле это связано с совестью, но это интересно...

Т: С совестью связано только то, что в этом бессовестном государстве я понимала, что оно бессовестное, и что никак не сопротивляясь этому, я становлюсь уже бессовестной. Я помогаю ему, а не стараюсь его удержать от этого. Ну, вот...

Ф: И Вы были членом... групп?

Т: Да, инициативных групп по защитам прав человека. Но это было уже позже. В 58-м году я уже познакомилась с Андреем Сахаровым у него на квартире, на старой квартире он тогда еще жил, на академической. И с 69-го года меня начали таскать... Да, вот обыски тогда прошли у многих в тот же день, когда был и у меня обыск, еще был обыск у Подъепольского, у многих, так называемых, диссидентов. Потом нас,

после обыска, естественно, нас вызвали в прокуратуру. И я попала в прокуратуру вместе с этими людьми – вот, где... Нас, собственно говоря, прокуратура сблизила. Мы поняли, что мы не единицы там где-то неизвестно кто, где живет, а мы обменялись адресами, телефонами в ожидании, когда нас следующего вызовят. И вот тогда мы уже и начали общаться друг с другом домами, ходили друг к другу, вместе думали над содержанием писем, вместе... Какие у нас были письма, чем мы вообще занимались? Мы просто защищали друг друга, если уж так говорить прямо и откровенно. Мы защищали друг друга. Мы не занимались изменением строя, а мы защищали друг друга. Но естественно, защищая друг друга, приходилось в тексте писать какие-то слова, которые явно не были угодны советскому правительству и советским властям, потому что не только правительство – это же целая цепочка, сеть это. И, начиная с 69-го года, меня начали.... Да, ну потом у меня еще было несколько обысков, не знаю 5 или сколько-то обысков у меня было и по другим уже... Там были арестованы потом и Кира Красин, там было много народу арестовано и за всех, конечно, в защиту каждого писались письма. Был потом арестован Леонид Плющ, который потом попал в психиатрическую больницу, о котором я книжечку написала – она, кстати, на английский язык переведена. Она у меня есть даже на английском языке. Ну вот... и... Вы у Плющей были?

Ф: Да, был.

Т: а, ну понятно. Ну, ладно, это потом. Они очень хорошие люди, замечательные, но поначалу у меня был некоторый инциндент с ЛЮней Плющом, уже когда он был здесь, а я уже была там. Но это потому что я была очень опечалина, когда увидела.... мне кто-то из корреспондентов принес газету немецкую, в которой было написано крупными буквами заголовок: "Я – коммунист!" – это писал ЛЮня Плющ, который "там" никогда не был коммунистом. Он был комсомольцем, таким очень активным, но не членом партии. Но это была у нас такая размолвка, как бы письменная. У меня... это письмо опубликованно в "Континенте" – мое письмо Плющю. По-моему оно очень...

Ф: В каком году?

Т: ... Льву понравилось и вот тогда он пришел и сделал мне предложение, что вот не напишу ли я что-то о свободе. "Мне так понравилось Ваше письмо," – сказал он. Когда же ЛЮня сюда приехал? Что-нибудь в 74-м или 75-й год...

Ф: И, значит, Вы не только встретились с этой группой, но потом как бы руководили Фондом Солженицына?

Т: Да...

Ф: Это было после его выезда из Союза?

Т: Да, да, да, после выезда, конечно. Поиому что Александр Иссаевич выехал, здесь опубликовал "Архипелаг Гулаг" и на средства от "Архипелаг Гулага", на все средства, он, его же почти перевели на все европейские и нетолько европейские языки, и он получил большой гонорар и весь свой гонорар он пожертвовал на помощь семьям политзаключенных. Но "политзаключенные" – это тоже неправильное слово. В Советском Союзе там вообще все слова перевернуты наизнанку и с ног на голову поставленные. Поэтому... я как лингвист это утверждаю... Поэтому не о чем нельзя разговаривать, пока ты неуверена, что собеседник вкладывает тоже значение в слово,

в которое вкладываешь и ты. Иначе можно Бог знает что, Бог знает до чего договориться и поссориться. Ну, вот...

Ф: ...Было много написано про диссидентов, особенно по политической части...

Т: Да...

Ф: Но какие проблемы дискуссий, которые были связаны с проблемой совести в этой работе? Были ли разговоры между вами как вести себя, как...?

Т: Да, такие разговоры были, конечно, как вести себя на обыске, как вести себя на допросе... Каждый, надо сказать, решал это самостоятельно для себя. Но обсуждать это, обсуждали. Некоторые даже писали о том, что следует себя так-то и так-то... Помню я был такой диссидент Альбрехт, так он написал такую записочку, как вести себя на довпосе. Но у меня, и не только у меня, а еще у некоторых людей, выработалась такая на это точка зрения в результате разговоров и, главным образом, собственных размышлений, что разговаривать на допросах вообще не надо и говорить ничего не надо. Я всегда считала так, что КГБ – это сотрудники, это люди, во-первых. Как в каждом человеке в них вложена совесть, но работа их бессовестная. И, руководствуясь именно этим, я всегда или тогда считала, что раз работа бессовестная, работа идет на уничтожение лучших людей, так я не буду помогать этой работе. Не для того я пишу и защищаю арестованных людей, или потом вот руководила Фондом Солженицына, или часто ко мне приходило очень много религиозных людей, прося защиты, не только православных. Приходили и адвентисты, и бабтисты, и, надо сказать, замечательные люди. Замечательные люди, но то, что у них другая вера – это другая вера, но она у них есть эта вера, понимаете? Вот это было важно мне казалось и сейчас так кажеться. И... что-то я отошла...

Ф: А в разговоры...?

Т: Да, вернемся мы к своему разговору прерванному... Да, шли разговоры о том, как себя вести на следствии и ... Значит я, у меня выработалась такая точка зрения, что я не буду помогать им в их бессовестной работе, ибо всякий мой ответ это для них – зацепка и это для них отчет, что вот так они ведут свою работу, они хорошо работают. Я не хотела, чтобы они хорошо работали. Я думаю это было бы и для них лучше, если бы они плохо работали. Потому что это некоторых из них немножечко бы... открывало бы у них глаза, что же они делают. Надо сказать, что.... И поэтому я на допросах молчала, я просто ничего не говорила. Ни "да", ни "нет", ни фамилии, ничего. Они спрашивали там, ну, естественно, первый вопрос – "Ваша фамилия, имя, отчество", там "где Вы живете" – я односложно отвечала: "У вас это все записано." Что за идиотский вопрос, когда они у меня с обыском только что были. Но я никаких таких слов, как "идиотский", ничего этого... "У вас это все записано." Все, больше я ничего не говорила, ничего не на один вопрос. Побившись со мной минут десять, они меня выпускали – им больше ничего гне оставалось. Магнитофоны включены, пленка идет и никакой речи нет. Я вела себя таким образом. Некоторые считали, что надо что-то там говорить и т.д., ну, по-разному...

Ф: И через эти годы религиозный момент вернулся или...?

Т: Да, вернулся он, главным образом, опять же из-за, я бы сказала, может быть системы советской. Или из-зи идеологии советской. Она мне вернула веру на этот раз, потому что я увидела, что масса людей страдает, особенно, когда я стала заниматься

фондом, или просто, когда я... Когда мое имя стало звучать по радио, ко мне стали стекаться люди, Вы себе не представляете, со всего Советского Союза – я не преувеличиваю и дети мои – свидетели. Почему они свидетели, потому что некоторые из этих приезжающих людей оставались у нас ночевать.Я жила не в таких условиях, я жила с четырьмя детьми в общей квартире, в коммунальной квартире. У нас было две комнаты, вот так вот они сообщались – и все, ничегоу нас больше не было. Коридор был общий, ванна – общая, кухня – общая с соседкой. Значит, принять этих людей, кроме как у себя в комнате, где мы спали все – пятеро человек, муж умер к тому времени – муж у меня в 58-м году скончался и я осталась с четырьмя детьми. И вот мы с четырьмя детьми, я с четырьмя детьми, мы занимали вот такое помещение – и все, больше ничего не было у нас. Все остальное, все вот эти коридорчики, это все было общее с соседями, и там я никак не могланикого принимать, потому что у меня не было никакой надежды на то, что соседка, которую мне вселили в последние годы – у меня там старушка была, она умерла и вселили вместо нее другую, не была поселена от определенной организации – от КГБ. Поэтому, если какой-то разговор начинался в коридоре, я сразу же проаодила ходока, как мы их тогда называли, к себе в комнату, потому что иначе ему могло быть плохо. Ну, вот, и, надо сказать, что вся эта группа людей, незная все ли поступали так из-зи того, что так... по велению совести, или по каким-то еще причинам, или, думая, что какие-то результативные произойдут.... Произойдет нечто результативное от этих писем, но факт тот, что страха не было почти не у кого. И страх был только за вновь приходящих людей. Вот за этих ходаков, потому что... И это хорошо знали не только мы, но и власти. Вот я говорю, что приходили адвентисты, приходили баптисты...

Ф: Когда были устроен фонд? Какие это были годы?

Т: Фонд... это был 76-й – 77-й, накануне того, как меня выгнали из Советского Союза в 77-м.

Ф: Так за один год вообще...

Т: Да, я не больше года была руководителем после ареста Гинзбурга. Вот эти люди приходили... Комические просто были случаи... Какая-то женщина приехала из Воронежской областми, из города Воронежа, просила, чтобы я заступилась... Она негде не может найти управы, она обошла все Воронежские организации, она была, там, в райкоме, в горкоме, еще где-то, и она вдруг услышала мое имя по радио и вдруг решила: "Вот пойду к этой женщине. Она, видно, все может." И она пришла и о чем она просила – ей не разрешили на окраине города держать козу. И вот она меня просила, чтобы я вмешалась в это дело, чтобы ей разрешили держать козу. Но мне пришлось ей отказать, конечно, я в такое дело вмешаться просто не могла.

И вот когда я сталкивалась с такими вот людьми, которые плакали, рассказывали, как у них отняли дом, а вот вся семья у нее давно, там, раскулаченная погибла, и вот она девочкой выросла, а у нее теперь отнимают одну сотку, потому что можно 10, а у нее 11 оказалось, и т.д... Вот эти переживания людей, их мучения – это они меня привели к вере.

Ф: Так это было в середине 70-х?

Т: Да, это было в середине 70-х. С этими людьми. Вот это страдание людей с одной стороны и, с другой стороны, какое-то просветление нашло на меня в связи с тем, что "а, так вот почему мне везло в жизни! Это не случайности все были!" И неслучайно я

пришла к этим людям, видимо это все было сделано свыше. Кто-то мною руководил, кто-то направлял меня на какой-то путь.

Ф: Интересно, что иногда я разговаривал с людьми, которые сказали, что только после того, как они пришли к вере, совесть появилась. А, кажется, у Вас совесть уже была довольно сильной? И нравстенная, без какой-нибудь религиозной...

Т: Да я вообще считаю, что совесть, она вложена в каждого человека. Он может просто, как бы сказать, действовать по совести, или не действовать по совести. Тут вот два пути только есть. Но осознать, что она в тебе есть, вот это может быть осознали позже, понимаете? Некоторые раньше, некоторые всегда это чувствовали и знали – религиозные люди, которые с детства и до старости остались религиозными. У меня был большой перерыв, тут я должна сознаться, ничего не могу сделать. Был блшой перерыв и потом возвращение религиозной совести, возвращение религии, возвращение.... Конечно, детские годы – они не прошли даром...

Ф: Часто люди этого поколения используют слова "добро" и "зло". Вы сами использовали вот эти слова до религиозной?

Т: Да, конечно...

Ф: И как Вы это объясняете? Потому что мне кажется, что "добро" и "зло", в одном смысле – религиозные термины...

Т: Конечно...

Ф: Но Вы, во всяком случае, использовали и Вашы поколение тоже не в религиозном смысле, но приняли как бы силу этих терминов...

Т: Да-да, это верно.

Ф: И откуда это?

Т: Я Вам более того скажу, ведь среди нас, вот этой небольшой группы людей – все-таки нас потом несколько сотен было, 300 человек сидело в тюрьмах и лагерях за так называемую антисоветскую деятельность, которой не было на самом деле – так вот из них, я не могу сказать сколько, но большая часть, были просто атеисты. И это... Ну, по их словам они были атеисты. Ну, скажем, Гриша Подъепольский, мой большой друг, он скончался уже давно, еще когда я была в Москве, при мне... замечательный человек... Он всегда говорил, что: "Да, что ты, Танечка... Ну неужели ты веришь в беспорочное зачатие?" Вот так, полушуткой он говорил, понимаете? Он не был релиюзным человеком, но он был великой души и доброты человек. И может быть, если бы ео судьба сложилась бы по-иному и он был бы жив до сих пор, он может быть тоже был бы релиюзным, этоо я не знаю. Т.е. он понял бы, что он неправ был, кода задавал такие... немножко смеясь говорил о религии. Но действовал он как настоящий верующий человек. Действия его были таковыми.

Ф: Известно, что сила идей и совести, хотя у разных людей, например, у Солженицына и у Натальи Горбаневской может быть, я не знаю, это было связано с религии. У большинства эта совесть – это, наверное, традиция русской интеллегенции, и просто из человеческой природы и...

Т: Да, это из божественной природы, не из человеческой...

Ф: Да, да.

Т: Из человеческой природы, вот советская власть старалась людям внушить, что совесть, или, скажем, да, ну назовем это совесть.... там, они какие-то другие слова употребляли и совесть в том числе... что это те люди поступают по совести, которые защищают коммунистическую мораль, выполняют коммунистические законы и т.д. Вот они поступают по совести, все остальные – выступают против совести, не по совести. Они все бессовестные. Вот это совершенно иной смысл. Я говорю в слова надо смысл вкладывать, т.е. каждый раз объяснять, что ты понимаешь под словом "совесть", что ты понимаешь под словом "разум", что ты понимаешь под словом "дух" или "душа" – одно и тоже это, или это по-разному понимаешь.

Ф: Интересно, что только небольшое количество было верующими, но почти все... Вот это интересно, все интересовались совестью, или нет? Например, Левая, например, Медведевы – такие?

Т: Об это я не знаю. Судят по-всему... Не знаю, так мне трудно про Медведевых что-то, но, все-таки, судя по их выступлениям... Я была на каких-то конференциях уже когда был один из Медведевых... Так они были неверующими, по-моему, такими и оставались и я бы не сказала, что они уж очень были совестливыми людьми.

Ф: Да, но я просто...

Т: Оба – и Рой, и брат его.

Ф: Просто я более широко интересуюсь моральным мировоззрением диссидентского поколения, в котором они участвовали и, конечно, имели свое влияние... в самиздате. И, значит, можно сказать, что это было только Ваше сообщество, Ваша группа, которые сильно интересовались совестью, или это было как бы довольно центральным мотивом...?

Т: Вот мне не хочеться говорить за целую большую группу. Я могу сказать, например, что Виктор Некипелов, ныне покойный, он очень много внимания и размышлений у него много, и писем на эту тему о совести, о добре, о зле... и стихи. И его посадили, и его сгноили...

Ф: Я думаю, что мне дали его книгу, Нина Комарова...

Т: Да, это его жена. Очень хорошо, а то я Вам тоже хотела подарить. У меня два экземпляра. Один ине Нина подарила, а второй у меня просто чистый. Да-да, вот прочтите и Вы увидети его совесть. Я, кстати, крестная его жены. Она крестилась уже здесь и я была ее крестной. Вот поэтому, Накипелов... А Сахаров, Сахаров тоже неверующий. Сахаров и остался неверующим.

Ф: Но тема совести не очень у Сахарова...

Т: Вот в том-то и дело. Вот этим он и отличается от Солженицына, основное отличие их.

Ф: Да, но тема интересна, потому что Сахаров, Медведевы... Это не то, что они несоветские, это просто...

Т: Только вместе я бы их не соединяла. Для меня Сахаров все-таки намного совестливее, хотя он на эту тему действительно меньше писал, меньше как-то... Хотя он из семьи священника, он же сыном священника был, Сахаров. Ну, так, он был ученый и он далек был от религии. И я помню он как-то был у меня на какой-то пресс-конференции иностранным журналистам, и, уходя... И какая-то это была беспросветная тьма вокруг нас и уже эти конференции тоже ничего не давали, и людей

сажали и продолжали сажать, и как-то такое уныние некоторое было. Я не помню, кого посадили, но, в общем, кого-то и очень так было тяжко после этой конференции и все... Просто вспоминали этого человека... "Танечка, как я Вам завидую, Вы верующая и Вам легче, а я вот ничего не могу с собой сделать – я неверующий. У Вас есть надежда, у Вас есть выход, а у меня его нет."

Ф: Спасибо!

Т: Пожалуйста.

English translation

The majority believe that the dissident movement was proactive in order to do something positive in the communist state. Maybe some dissidents really believed that they acted trying to change something in that state. But I'd like to stress that I did not belong to such a group, as I never expected practical results from my activity. Besides – and I have said this many times and I will repeat it again – I do not like the word "dissident". In fact, I believe that it was not we who were dissidents – which is how the West called us – but our state that was dissident. It was the state that had cut itself off from morality and from God and not we. In this sense I do not consider myself a dissident. But there was no more appropriate word. The West quickly picked this word up, perhaps from the Soviet authorities or journalists. It's as if it got glued to the group of people my destiny had brought me to.

Philip: Could you please tell a bit about your childhood?

Tatyana: Fine. I was born and lived in Moscow before moving to France. I was lucky because in my childhood I absorbed all that Russian culture that had existed before the revolution.

Ph.: When were you born?

T.: I was born in 1921 and was brought up by my grandma and my granddad. Here is my grandma in her youth [showing her photo] – Anastasia Aleksandrovna Vrubel', a sister of the artist Vrubel'. This is my granddad, Evgenyi Yulianovich Khodorovich .... These are my grandparents when they were already married .... This is my grandma's second husband – Aleksandr Vasil'evich von Biberstein, from a German aristocratic family, but born in Russia and considering himself Russian. He lived in Moscow but travelled a lot as my real grandfather whom I never saw. So I was brought up in the family of my grandmother and her second husband, whom I call my grandfather. They travelled a lot. I was brought up with their youngest children. They did not hide their views from their children. My grandfather was a religious man. In the evenings before sleep we congregated in the sitting room. We lived in St Petersburg then – it is very difficult for me to call it St Petersburg as it hasn't changed from the times when it was Leningrad, oh, well, it is renamed again and I have to call it by its name – Petersburg. So, I spent all my childhood in St Petersburg in the family of my grandparents. It was an intelligentsia family as I have mentioned earlier. Moreover, it was a family that did not hide any views or beliefs from their kids, though it was accepted to hide these things by that time (the end of the 20's-beginning of the 30's). For that reason, their talks, their day-to-day life and my contact with other people gave me a sense of pre-revolutionary Russia. It was interesting but painful as well, almost difficult to bear. Having absorbed these views and beliefs in my family, outwardly I faced a totally different reality. Then as everybody else I went to school, it was an obligatory education ... It was a problem as there were the Oktyabrists and Pioneers. This was supposed to lead to the Party. But I was from an absolutely different atmosphere, all my relatives, aunts and uncles who were my peers lived a completely different life. All our friends were from the same families as us – the remnants of old noble families. These were the friends who used to visit us. But in the courtyard, there were different kids from all sorts of family backgrounds. And there were no such talks about conscience or about religion and God. Instead, we were playing hide-and-seek, with dolls, horses, like normal kids, but when we were at home we were fed with the same "food". I read a lot in my childhood. I started to read from the age of four. We used to

read aloud in the evenings – the grown-ups were reading to us and we were listening, but when I started to read myself, I couldn't tear myself away.

Ph.: And what were you reading?

T.: Late in the evenings, grandfather used to gather all the children – including grown-ups and, together with grandma, granddad used to read the Gospel aloud to us. That was my first contact with such readings and explanations. And it was when churches were prohibited and you were not supposed to even mention God, especially in the children's collective in school. When I went to school, in the first form they were teaching us letters, which I had already known and could read and write fluently. The teachers were very happy with my success. It was not my merit, it was simply because I was ready for something higher than the first form thanks to our reading at home, conversations and books. (I will come back to books a bit later...) So in the second year, we were taught that everybody should follow the example of grown-up communists such as Lenin. Lenin did this and that. I was a bit astonished, because at home I picked up entirely different remarks about Lenin. It was not done on purpose for us children, but simply our parents discussed it between themselves, i.e. not even parents, but grandma and granddad. My mother at that time lived in Moscow – she worked and there was no one to baby-sit for me, that's why my grandma took me to her family, for which I am grateful to her. I had a wonderful childhood. There were wonderful Christmas trees...

Ph.: So you were living with your grandparents, and what about your parents?

T.: They were in Moscow. My parents had separated quite early. Mother would like to have been with us but couldn't, she had to work. That's why I lived with my grandparents' family, where grandma did not work and was bringing us up. By that time grandfather was an Admiral of the fleet, which meant that it was not only an aristocratic family but also a high-ranked one under the Soviet's authority. Why did granddad, being a sea officer, not emigrate to the West, like almost everyone else in the White Army had done, except, of course, those who were killed or decided to stay for some reason? My granddad was a hard person, a strong character, and he absolutely refused to leave Russia. He felt that it was his duty to defend the country against the external enemy, considering the Bolsheviks to be something to fight against from within but not the most extreme danger. A bigger danger would have been, for example, if England or France had entered Russia. It is difficult for me to judge now whether he was right or wrong. One shouldn't judge people, especially one's parents. That's why I am not a judge, I was too little then. But I remembered the explanation that I heard when I grew up a bit this way. There was a whole story with my granddad. During the Provisional government, when Kerensky was around, it was not clear whom to listen to – that's how my granddad used to tell us, but it's a long story and I won't stop on it. But the fact is that he stayed in the Soviet state. He was an Admiral then, he was given it in 1917, I think... No, after the revolution there were no ranks at all, there were only flagmen. He was a flagman of the first rank. Then later the old officers' ranks returned, and he became a vice-admiral of the fleet.

Ph.: Could you please tell me a bit about your life after childhood, what were you doing in the 40's and 50's?

T.: Ok. I'll quickly go back and tell you a few words about school, because I haven't finished it yet. So, after the second year, children were supposed to become Oktyabryaty, swearing to be true to communism. I had jumped the second class. I jumped the Oktyabryat age and

came to the age of the Pioneers. I was supposed to join. I was small, but I said that I would not be a Pioneer. The teacher was totally astonished – how come? And she got even scared of...

Ph.: And why did you refuse?

T.: I refused for purely ideological reasons, as far as I can see it now ... I said to the teacher that I would not wish to be a Pioneer that I did not wish to swear, for I knew that it was bad to swear. I said that I did not consider myself ready to follow the path of Lenin – "Be ready! – Always Ready!" – the Pioneers' slogan. So I refused. I was called to the Director, and then my grandfather and grandmother were also called in. I was about ten then. My grandparents said to him that in their family the children were free in their choices.

Ph.: Your grandparents, they didn't want you to refuse it?

T.: We didn't discuss it. They didn't force me or try to persuade me. However, in school they decided that a nine-ten years old child could not make the decision to not become a Pioneer and, what's even more unlikely, to explain the reason. That's why my grandparents were called in to the Director. But when my grandma came, she said that in her family the children were free in their choices and that she would not force me to join the Pioneers. If the school thought it necessary, then the school should work with me, a girl. But my grandparents would not help the school to persuade me in the matter. So they left me alone afterwards. My grandma was told that I would be expelled from school, but there was no such law to expel somebody for refusing to join the Pioneers. So they left me alone and it actually saved me later when they tried to persuade me to join the Komsomol. I had a very good pretext to give them, which was true and evident. I used to say that because I was not a Pioneer, I had no right to be in the Komsomol. I am not ready. So they had to leave me alone. And, of course, joining the Communist party was not even discussed.

Ph.: Was it because of the religious or ideological influence?

T.: Yes, I think that certain concrete reasons were important. For example, it was forbidden to children, especially Pioneers, to go to church. Not even for Easter or Christmas services were school kids allowed to go to church. Of course, some parents did go to church with their kids, not many though. In order to stop that they created the Pioneer cordon, the Pioneer "shield". I myself saw older classmates, wearing red pioneer scarves, who were stopping children from going into church – including myself. I was with my grandparents, aunts and uncles, and so they took me through the cordon, as the Pioneers couldn't do anything against that. And I remembered this, so when it came to the point of joining the Pioneers, there was this picture in front of my eyes – my schoolmates with their red scarves on were not letting people in to pray to God. And that triggered my decision never to enter the Party organisations. In spite of being an admiral, my granddad was never a Communist Party member, and he did not share its views. That's why I knew already then who Lenin and Stalin were, especially when everybody was afraid to talk and was only whispering about it. At home we were quite open about Lenin and Stalin. Due to his high-flown post my grandfather used to go to the meetings of the Revvoensovet – the Highest Military Council – and he would tell grandmother with anger about what had been going on. He was valued as a military specialist. He specialised in deactivating mines and once he was assigned to deactivate minesin the Bosfor and Dardanelle channels. So he was really valued as a specialist. That's why, in spite of the fact that he was never a Party member, the authorities

kept him safe and sound. So he was never in prison – neither during Lenin‘s regime, nor during Stalin‘s.

Ph.: When did he die?

T.: He died in my hands when I was already a gown-up. I still lived in Moscow then, not here. He died in Yalta, in the Crimea, where he lived his last years. It was about 30 years ago, I don’t remember exactly. I think I’ve been here for around 20-30 years, and he died 10 years prior to my departure. I came to Yalta to take care of him. He always used to pray – he had an icon. And we never hid the icons we had at home, in spite of many visitors – there was a special duty for teachers to visit their pupils at home, so even when they came it was always open. Perhaps we were protected by granddad’s position. Anyway, it saved me from faithlessness. I had a deep child’s faith, and to a certain extent it was a church faith, because I used to go to church to communions and confessions according to the Orthodox tradition. But life is life. When I became a young woman, it was during the 40s-50s, I got into the whirl of life. I entered the philological faculty of the Moscow Pedagogical Institute and obtained many new friends... I can’t say I was a sociable person but was an ordinary student. And we... I have no idea how, but I found myself in a circle which was completely alien, by upbringing, attitude to life. I got into the circle of Komsomol workers, typical Soviet young people. And I got used to them, and we spent our time together – went to the cinema, went to buy sweet bagels (baranki). We also went to lectures together and skipped some of them, etc. So we did everything together and my religion shifted to the background somehow.

Ph.: When were you at this Institute?

T.: At the Pedagogical Institute? In 1938 -1941. In 1941 I had to graduate earlier because of the war. The war started. I married. My husband worked as an engineer in a scientific research institute, which during the war was considered an institute that did something important for the war. And he was evacuated. We went to Barnaul in Altai. That was 1941, and in 1943 we came back with the institute. While we were in Barnaul, I also worked in the same institute as a simple worker, polishing the quartz discs. Then we got back, and I left the institute as it was not my profession or my career intention. I had a daughter and then another, and I didn’t work then, I was baby-sitting. Then I went to work in a school. In 1948 I started to work in a Soviet school, and I came to know what real hell was. Hell not in the sense of work ... I remember very well my feelings during the first year. I worked there for four years. The first year was getting to know the situation. Lots of papers to deal with, parents to visit, to get to know them better, etc. It was not far from Danilov’s market, where recently they opened the Danilov monastery. At that time, it was closed, of course, and in its place there was an orphanage for homeless kids, specifically for those who committed a crime, so it was rather a detention place. So I worked in that area. And I worked in a boys’ school. At that time, there was still a separate education for boys and girls. Then in a few years they merged it. So I was working among young boys. The first year my head was preoccupied with lots of paperwork, so I didn’t notice anything else somehow. The second year I was trying to get a better contact with the boys. It was a working class region in the Moscow suburbs and the kids were very hard to deal with, because they were mainly from difficult family backgrounds, where fathers were drinking and abusing their wives. Of course, the kids were not to blame for this, but they were street kids – hungry, poorly clothed, as it was after the war.

Frankly, I don't know of a time when there was no hunger in the USSR. I think a great amount of the hunger was always either because of the war, or because of a poor harvest, or because of something else. But at that time, it was because of the war – everything was explained by the war.

Quite quickly I established contact with the boys and started to work with them from the fifth class. I taught literature and Russian. When I got to know the system and the parents and found out how to keep control in the classroom, I saw with horror what I was actually teaching them. You would think that there was no politics in teaching Russian. But no, it was all politics. I am not even talking about literature. But the language itself. All the exercises, all the examples of grammar use – all this was filled with phrases about communism, socialism, that we are the first, we invented a lamp bulb, and a steam train, we invented everything – it's all the achievements of the Soviet state. We, the Soviet State, are one united family of peoples. The time of the Tsars everything that belonged to the time of monarchy was terrible. A quite often-used phrase was "the prison of nations", and now it was, on the contrary, "a society of thriving nations", etc. All the exercise books were filled with these things. I had no right to refuse to use these textbooks. There was no way out, because as a teacher the Director or other teachers always checked me. The school Director had to be a party member. It was obligatory. I could not change anything, and I did not know how to change it. The one thing I could do was to teach on the sly certain things which were not in the textbooks. I might say something about Tsvetaeva or Pushkin in real life and not as it was in the textbooks. But I would say that they should not tell this to anyone. Otherwise, I would not be able to work with you. By that time, it was not the 5th class but the 7th and 8th, and the children were already bright, and I had a good contact with them. I loved them and they loved me too. And I realised that in order to keep discipline in the classroom, so to speak, a teacher had to keep the pupils interested, then they would behave themselves and help you. My class helped me. But what could I do? I understood that I was lying when I required that they learn by heart the verses of Lebedev-Kumach or other bad Soviet poets with poorly written verses and terrible ideas. But I had to say this was marvellous, not simply for my own sake – to stay in work and feed my own children, but also because I knew too well that the children themselves had to go further – to institutes and universities. What would they do? What would they answer in entrance exams then, if I told them these verses were bad, if I told them the truth? If I lived by my conscience? So I decided to leave the school, in spite of the fact that my children would be hungry and my husband... I had two children then. The third one was born when I had already left school. So I had to pay someone to look after my kids. I think I was lucky. I've been thinking about it. I came back to faith later.

So, what happened then? I handed in my resignation letter to the Director who was reluctant, because although a communist he shared some of my views and valued me as a teacher. It was hard, but I left the school in the end. I told him that I had to leave because of my family situation – I did not have anyone to look after the kids. It was almost impossible to find a baby-sitter at that time because people from this layer of the society had to work in collective farms (kolkhoz) and they did not have the right to leave as they did not have their passports. And without passports it was illegal to live in a city. So you could only find old women to baby-sit with your kids, who were also looking after their own grandchildren. So I explained it all in my letter to the Director and left the school. Then one day my phone rang. A professor from the institute I graduated from asked me whether I would like to work

in the Institute of the Russian Language. The reason why he invited me was because I had been very interested in dialect studies while studying in the institute. I used to go on all expeditions to collect Russian dialect material. All these dialect research groups were co-ordinated by professors and we, students, researched and recorded the spoken dialects. Obviously, I did it really well because my former professors remembered about me and invited me to work with them. By that time most of them had gone through prisons, been made redundant and then gone to other institutes to work in. Finally, this Institute was founded. It used to be called after Mara, but then this name turned out to be unsuitable and it was renamed as the Institute of the Russian Language of the Academy of Sciences, then it became the Institute of Language Studies of the Academy of Sciences. Then other languages were separated from Russian and it became the Institute of the Russian Language. I went to work there. I worked there for 19 years.

Ph.: When did you start working there?

T.: I think, from 1952... No, even earlier than that. In 1970 I was made redundant, so it was in 1951 when I started to work there. Yes, Stalin died when I had already been working there. Initially they took me on a temporary basis with a contract, but later they took me permanently and I spent 19 years in the Department of Dialects and History of the Russian language. It was my specialisation. I felt I was very lucky. Hardly had I left the school and been left without any income, when I found this interesting and prestigious job. It was indeed a very interesting job. There was a wonderful collective of scholars – not from a human point of view, but scholarly. I wrote something on "Linguistics and Politics" where I describe the kind of people I worked with. How they were forced... Well, it is very dramatic, I don't want to stop on that now. But maybe I'll give you or somebody else my written work because it has got a terrible message to convey. It is a horrific thing how they, the authorities, removed the conscience of people or how they tried at least to take it out, but failed, because it was impossible. However they managed to change people, who were real scholars, very thoughtful, bright, talented, kind people – and they turned them into somebody else; how they (the scholars) poured dirt on each other, how they called each other fascists, because one scholar seemed a danger to the authorities, which wanted to get rid of him for some reason but did not want to make their own hands dirty so they used others, they made all of his colleagues and friends to be his killer... It is a terrible thing ... And how his colleagues would turn on him. My text is all from real quotations. I have one or two of my own commentaries about what kind of a scholar he was, what kind of a person, where I met him, why I know him, And all the rest is quotations about his inner struggle, horrible struggle. The very best out of the best professors were being destroyed. Students were deprived of the best lecturers, who were replaced by totally different ones. It was a very terrible thing. That was in the institute.

If it had not been for the expeditions I had taken part in, where I was with simple ordinary people, I would not [have been formed this way]. How were these expeditions organised? We went to Russian speaking regions – a large area. We gathered material almost the whole summer. We met ordinary peasants. We tried to look for people who didn't have radio or whose grandchildren were not living in the cities, because it would have influenced their speaking and then for our search it wouldn't have been authentic any longer. So then and there I realised how much wisdom, how much inner moral power there was in a simple peasant – they were by that time already collective farm workers (kolkhozniks). At the beginning they were afraid of us, of course. We had such a programme when we had to

make a social poll. We had to find out how exactly the local people of that particular area spoke and pronounced words. So we asked lots of questions, leading an interviewee to topics which were close to peasants' reality. First, we asked general questions just to start the conversation, but then we asked more specific ones to find out how they pronounced such and such word, if they used different cases or declensions. And I realised what an extraordinary natural language sensitivity they had. It's true that sometimes it was difficult to get what we wanted from them. But still ... We were creating an atlas of Russian dialects. But when the peasants really talked, this ungrammatical people, dark, uneducated – these people understood inwardly what we were interested in.

Ph.: Could you please tell a bit more about the 60-s when you got involved in this movement?

T.: Well, seeing the wisdom of these people, and absence of envy.... It is very difficult for me to switch from it and start answering your question, because I feel very deeply about what they did to the people. There is a soul in each human being and there is conscience. And this conscience is a natural law, given us by God. That's why the less educated a person was, and therefore the less he had contact with the outer Soviet world, the deeper was his soul, and this explains much. It explains why they talked about themselves, about their personal life. For instance, they were telling us about some quarrels within their families or even about horrible crimes, but they would never back them up and blame somebody else for it. So meeting such people – during these we went by cars, sometimes on foot – I found myself in a very sad mood. What could one do? What could one do with Soviet agitation and propaganda? How could one refuse to participate in it? Because willy-nilly I participated in it somehow. Even when I bought a trolleybus ticket I participated in the system. Even posting a letter, with the picture of Lenin or Stalin on the stamp, I am participating in the system. I become indifferent to life around me. I was very melancholic. I wanted to do something. I did not know then that there were others in the same position as me, who also couldn't find a way out. And some of them started even to get into groups.

Then one day, some came to the institute with a letter – someone from the outside. A letter in defence of two writers, Sinyavsky and Daniel, who were published here and in the West. They were arrested and various people – their colleagues, other writers, literary critics – wrote a letter to the Soviet government in defence of these two writers, saying that they knew them very well, that they were wonderful people, and that they were not at all against the Soviet authorities... I would say it was a "toothless", so to speak, but open letter, defending people. I read it, and with a certain fear asked if I had the right to sign it. They said, "Yes, of course you can." So I signed it. It was the first letter I signed. And after that I became acquainted with a whole group of people, who had also signed this letter. I entered this arena. The next letter was in defence of Ginzburg. A fewer signed this because it was more dangerous at that time. Then the Czech events in 1968 – I could not stand on the side. But I was not that close to this group of people at that time yet, so I did not go to the Red Square, because the preparation for this event was secret. Several people agreed among each other so that they wouldn't be arrested before they got to their meeting point. But then, when they were arrested afterwards, the rest, who did not go there, wrote in their defence. And then it became even more dangerous, and I had my house searched. The search was from the procurator. A woman came, the procurator, did the search. There were present real witnesses of the search from neighbouring flats. The woman turned the

enormous armchairs upside down herself. Amazingly strong! She lifted them up this way so that to shake everything out in case if something was hidden in there, maybe among the metal springs.

Ph.: Were you scared at that moment?

T.: Oh, no. I had no fear that time. I was afraid of only one thing – that they would not allow me to sign the first letter. I had finally found a way out of the thing, which was tormenting me. That's why I did not have any sense of fear. I knew that there were arrests going on around me... I was not blind. I saw it all during Stalin's time.

Ph.: Somehow, I think it is connected with conscience, it's really interesting...

T.: It was connected with conscience, because I realised that in this conscienceless state I would become conscienceless myself if I didn't act against it. I would be helping the state, not trying to hold back from it. I felt it was against my conscience to be silent towards the state.

Ph.: And were you a member of any groups?

T.: Yes, I was a member of the Initiative Groups for the Defence of Human Rights. But that was later. In 1968 I met Andrei Sakharov at his old place, when he still lived in his old academic flat. And since 1969 they wouldn't leave me alone. Others were searched the same day as me – Podyapolsky and many others, so-called dissidents. After the searches we were taken to the procurator together, and thus the procurator brought us closer. We understood that we were not alone. We exchanged addresses, telephones while waiting to be called into the procurator's office. Since then we started visiting each other, we brainstormed over the letters of defence... We simply defended one another. We were not engaged in changing the system, but we defended one another. But, naturally, while defending one another, we had to write some words in our letters which obviously were not in favour of the Soviet government and the Soviet authorities – it was not only the government, it was the whole network. And starting in 1969 they wouldn't leave me alone... There were about five or more searches in my flat and in others'. Lots of people were arrested then such as Kira Krasyn and many others. We wrote letters in defence of each of them. Then Leonid Plyushch was arrested and placed in a psychiatric clinic, a man I wrote a book about. It was translated into English, by the way. I've got it somewhere in English. The Plyushches are great people. But I had a small incident when he was already here [in Russia] and I was already there [in the West]. I got very disappointed when I saw a headline in a German newspaper – "I am a communist!". It was Lenya Plyushch, who had never been a communist when he was "there". He was a Komsomolets, a very active one, but not a Party member. So we had this argument in our correspondence. My letters to Plyushch on this matter are published in Kontinent.

Ph.: Which year was it?

T.: Lev liked it a lot and came up to me to ask whether I would like to write something on freedom. "I liked your letter so much", he said. So when did Lenya come here? I think around 1974 or 1975.

Ph.: So you were also running the Solzhenitsyn Fund?

T.: Yes...

Ph.: Was it after he left the USSR?

T.: Yes, of course, because Aleksandr Isaevich published “Archipelago Gulag” and used all the royalties from it – it was translated into almost all European languages and not only European – so he received good royalties and donated it all to help the families of the politically confined. But this concept – the politically confined – is also a wrong one. In the Soviet Union all the words were turned upside down. As a linguist I can say that you can’t talk about anything unless you are sure that your conversation partner [sobesednik] interprets words the same way as you do. Otherwise, God knows what you would talk and quarrel about.

Ph.: Were there any conversations on the topic of conscience? Or maybe how one should behave oneself...?

T.: We did have conversations about how to behave under interrogations, or under searches, etc. But it was up to each of us to decide, though it was discussed. Some even wrote how one should behave oneself... There was such a dissident Albrecht, who wrote a note how one should behave oneself under interrogations. But others and I worked out the following after discussion and our own reflection. We concluded that there was no need to have a conversation at all during an interrogation. I always considered the KGB as people and each person has a conscience. But their work was without conscience. In such a situation – that their purpose was to destroy the best people – I concluded that I would not facilitate this work. I was not writing these letters in defence of arrested people or running the Solzhenitsyn Fund afterwards, to help their work. A lot of religious people came to me, asking for help, not only Orthodox, but also Adventists, Baptists and others – wonderful people. It didn’t matter that they had other beliefs. It mattered that they had faith, you see? This was important and still is.

So there were conversations about how to behave under an interrogation. I chose not to help them in their conscienceless work. Any reply for them was a hook [zatsepka], a report [otchet], that they were working well, and I didn’t want them to work well. Because it would open their eyes to what they had been doing. That’s why I kept silent during interrogations, I said nothing to them at all. Not even “yes” or “no”, not even my surname, nothing. They would ask – “What’s your name? Where do you live?”. And I would reply – “You’ve got everything already written down.” What an idiotic question if they had just been to search my flat? But I didn’t say any of these words such as “idiotic”, oh, no, nothing of this kind... “You’ve got it all written down” – that was it, nothing else. Having tried some ten minutes longer with me, they would let me go. They had nothing but let me go. The tape recorders would be switched on, the tape would be going, but no answers. I behaved this way. Some believed it was better to talk about something, etc.

Ph.: And did the religious moment return through these years?

T.: Yes, it did because of the system. The system returned me my faith. I saw that masses of people were suffering. When I was running the Fund, people came to me from all parts of the Soviet Union. I do not exaggerate, and my children are witnesses of this, because some of those coming used to stay overnight at our flat. I lived with four children in the communal flat. We had two rooms – one leading into another, a common corridor, a common kitchen, and a common bathroom. So five of us would sleep in the same room. My husband had died by that time, he died in 1958. As we shared everything with our neighbours, I couldn’t really

receive anyone, because I did not have any faith in my neighbours. One of them had just recently moved in. Maybe the KGB moved her there, who knows. So if any conversation started in the corridor I would immediately invite that visitor to our own room, because otherwise it could be really bad for the visitor. If people came, I took them into the flat.

Our entire group, whether operating by conscience, or for achieving particular objectives, almost no one had any fear. The only fear was for people newly joining us. And we knew it as well as the authorities did. Adventists, Baptists used to come too.

Ph.: When was the Fund established?

T.: In 1976-77, right before I was departed from the Soviet Union in 1977. So it was no more than a year that I ran the Fund after Ginzburg's arrest. So all these people used to come... There were many comic situations... Once a woman came all the way from Voronezh region to ask for help. She failed to get help from any of the local administrative institutes. And then she heard an interview with me over the radio and decided to refer to me for help to keep a goat at the edge of Voronezh – apparently, she was not allowed to do so. But I had to say "no" as I simply couldn't interfere in such a matter.

And then, listening to all the stories of sufferings of people, brought me back to faith. In the middle of the 1970s. The sufferings of people on one hand, and coincidences in my life on the other. After all, it was not purely by chance that I came across these people, it was obviously done from above. Somebody was leading me up to it to choose this path.

Ph.: It's interesting that sometimes the people I interviewed would say that they came to faith and found their conscience. And you, I think, had a very strong conscience even before faith. A moral conscience without any religiousness...

T.: I think that conscience is inherent in every person. And there is a choice either to act by that conscience or not. But the realisation of it [that you have got your conscience] may come later, you see? Some people feel it earlier; others always have been feeling it and knew it – especially religious people, who have been religious from their childhood till their old age. I had a huge gap, I must admit. It had been a long gap and then my religious conscience came back to me. Of course, my childhood years were not wasted...

Ph.: Often people of that generation used words such as "good" and "evil". Did you use these words yourself before re-obtaining faith?

T.: Yes, of course...

Ph.: I think these are religious concepts, but your generation accepted them, accepted the power behind them, so to speak...

T.: Yes, it is true.

Ph.: And where was it coming from?

T.: Even more than that... In our small group of around 300 people, who were in prisons or labour camps for so-called anti-Soviet activities, the majority were atheists. At least according to their words. For instance, Grisha Podyapolsky, a very good friend of mine, a remarkable person, who had passed away long ago when I was still in Moscow. He used to tease me about faith. But he was a person of great soul and goodness. But not a believer, though lived like a true believer. Conscience comes from the divine nature – not human nature.

Formerly it was the Soviet authorities, trying to persuade people, that only defenders of communism were operating by conscience, all the rest were acting against their conscience, were acting without conscience. So they meant a different thing altogether. That's why I think we should be careful with the meanings of words we use and their different interpretations.

Regarding the Medvedevs, I wouldn't say they were very conscience-oriented. Both Roy and his brother...

I don't want to speak for the whole group. But I can say that Viktor Nekipelov, also now dead, did a lot of thinking and wrote letters on this theme – conscience, good, evil... – and he wrote poetry too. And he was imprisoned, and he was destroyed.

Ph.: I think I've got his book. Nina Komarova gave it to me.

T.: Yes, she is his wife. Very well, because I also wanted to present it to you. I've got two copies. One I was given by Nina, another one I keep just in case. Read the book and you'll see his conscience. By the way, I am his wife's Godmother. She got baptised already here, and I was her Godmother. That's why Nekipelov ...

And Sakharov, he also was a non-believer and stayed this way.

Ph.: But I don't think Sakharov wrote anything on this theme of conscience...

T.: That's the thing. This is the main difference between him and Solzhenitsyn.

Ph.: It's a very interesting topic because Sakharov and the Medvedevs ...

T.: I wouldn't really group them this way. For me Sakharov is much more conscientious, although he didn't write much on this topic. Though he was from a priest's family, he was the son of a priest. But because he became a scientist, he was far from religion. I remember once we were coming out of a difficult press conference with foreign journalists ... And there was this horrible feeling of darkness around us, all these conferences didn't do much, people were still being sent to prisons... So there was a very gloomy mood then. We were walking with Sakharov, remembering somebody who was taken to prison that day, and Sakharov said to me, "Tanechka, how much I envy your faith. You are a believer, it is easier this way. And I cannot do anything with myself, I don't believe. You have hope, you have a way out, but I do not."

Ph.: Thank you!

T.: You are very welcome.